



РЕБЕККА
Уэст

ФОНТАН ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ

Перевод
Любови Карцивадзе

роман

МИО

МИФ Проза

Ребекка Уэст

Фонтан переполняется

«Манн, Иванов и Фербер»

1956

УДК 82-311.2(410)

ББК 84(4Вел)6-44

Уэст Р.

Фонтан переполняется / Р. Уэст — «Манн, Иванов и Фербер»,
1956 — (МИФ Проза)

ISBN 978-5-00-214038-1

Первая книга культовой трилогии британской писательницы Ребекки Уэст «Сага века», в основе которой лежат события из жизни ее семьи. Ставший классическим, этот роман показывает нам жизнь семейства Обри – насколько одаренного, настолько же несчастливого. Мэри и Роуз, гениально играющие на фортепиано, их младший брат Ричард Куин и старшая сестра Корделия – все они становятся свидетелями того, как расточительство отца ведет их семью к краху, и мать, некогда известная пианистка, не может ничего изменить. Но, любящие и любимые, даже оказавшись в тяжелых условиях, Обри ищут внутреннюю гармонию в музыке, которой наполнена вся их жизнь, и находят поддержку друг в друге. Для кого эта книга Для поклонников семейных саг, исторического фикшна, классики и качественной литературы. Для тех, кому нравятся книги «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Для тех, кто хочет прочитать качественную и глубокую книгу английской писательницы, которая внесла выдающийся вклад в британскую литературу. На русском языке публикуется впервые.

УДК 82-311.2(410)

ББК 84(4Вел)6-44

ISBN 978-5-00-214038-1

© Уэст Р., 1956

© Манн, Иванов и Фербер, 1956

Содержание

Глава 1	8
Глава 2	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Ребекка Уэст

Фонтан переполняется

Original title:
Fountain Overflows
by Rebecca West

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

THE FOUNTAIN OVERFLOWS

© Estate of Rebecca West, 1956. This edition is published by arrangement with The Peters Fraser and Dunlop Group Ltd and The Van Lear Agency LLC. Translation copyright © 2023, by Liubov Kartsivadze

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023

* * *



Моей сестре Летиции Фэйрфилд



Глава 1

Наступила такая долгая пауза, что я начала сомневаться, заговорят ли родители когда-нибудь друг с другом снова. Не то чтобы я боялась, что они поссорились – ссоры случались только у нас, детей, – но оба они словно погрузились в сон. Потом папа нерешительно сказал:

– Знаешь, дорогая, мне жаль, что так вышло.

Мама ответила едва ли не раньше, чем он договорил:

– Это не будет иметь значения, если на сей раз все получится. Ведь все получится, правда?

– Да-да, несомненно, – в голосе папы послышался сарказм. – Думаю, я справлюсь со своими задачами. Думаю, я справлюсь с работой редактора в маленькой пригородной газетке.

– О мой дорогой Пирс, я знаю, что ты достоин большего, – тепло сказала мама. – Но все-таки какой же это подарок судьбы, какое счастье, что мистер Морпурго владеет газетой, и как любезно с его стороны, что он хочет помочь тебе... – Она осеклась, не закончив фразы.

– Снова, – отстраненно подсказал ей папа. – Да, и впрямь странно, что такой богач, как Морпурго, возится с газетенкой вроде «Лавгроув газетт». Говорят, она приносит неплохую прибыль, но для крупного капиталиста это сущий пустяк. Впрочем, полагаю, когда нагребашь столько сокровищ, среди алмазов и самородков попадаетея и пустая порода. – Он снова впал в оцепенение. Его серые глаза, блестевшие из-под прямых черных бровей, уставились в стены фермерской гостиной. И хотя я была тогда ребенком, я знала, что сейчас он представляет, каково это – быть миллионером.

Мама взяла коричневый чайник, вновь наполнила папину и свою чашки и вздохнула. Папа посмотрел на нее.

– Тебе не хочется оставаться здесь, в этом забытом Богом месте?

– Нет-нет, мне везде хорошо, – ответила она. – К тому же я всегда хотела, чтобы дети провели каникулы на Пентландских холмах, как и я в их возрасте. Для детей нет ничего лучше жизни на ферме; по крайней мере, так говорят, не представляю почему. Но вот сдавать квартиру с мебелью мне не по душе. Такой стыд...

– Знаю, знаю, – с досадой оборвал ее папа.

Все это происходило больше пятидесяти лет назад, и родители беспокоились не на пустом месте. В те времена среди порядочных хозяев было не принято сдавать свои дома вместе с мебелью, а среди порядочных жильцов – их снимать.

– Конечно, у этих австралийцев есть веская причина искать жилье на лето, ведь они приехали, чтобы навещать свою дочь в лечебнице доктора Филлипса, но оставлять чужих людей в квартире с хорошей мебелью так рискованно, – пробормотала мама.

– Да, полагаю, она кое-чего стоит, – задумчиво проронил папа.

– Ну разумеется, это всего лишь ампир, но в своем роде она лучшая, – ответила мама. – Тетя Клара купила ее во Франции и Италии, когда вышла замуж за скрипача-француза. Все крепкое и удобное, пусть даже и не Чиппендейл¹, но стулья с лебедями и те, другие, с головами дельфинов, весьма недурны, а шелка с пчелами и звездами очень красивые. Все это очень пригодится, когда мы начнем жизнь с чистого листа в Лавгроуве.

– В Лавгроуве, – повторил папа. – Право, как странно будет вернуться в Лавгроув. Роуз, разве не странно, что я повезу вас туда, где гостил, когда был таким же маленьким, как ты? – сказал он, протянув мне кусочек сахара.

– Дядя Ричард Куин тоже гостил там? – спросила я. Папин брат умер от лихорадки в Индии, когда ему был двадцать один год. При крещении ему дали имя Ричард Куинбури,

¹ Стиль мебели, названный в честь дизайнера Томаса Чиппендейла. *Прим. ред.*

чтобы отличать его от другого Ричарда в семье, и папа так сильно его любил, что назвал в честь него нашего младшего брата. А поскольку братика мы обожали, нам казалось, что мы лишились замечательного дяди, и пытались воскресить его по папиным рассказам.

– Да, мы гостили там вместе, потому я и помню это так хорошо, – ответил папа. – Места, где я бывал без него, почти стерлись из памяти.

– Может, удастся найти нам дом где-нибудь неподалеку, – предположила мама. – Детям бы это понравилось.

– Никак не вспомню название того места. Ах да, Кэролайн Лодж. Но его наверняка давным-давно снесли. Дом был маловат, но очень мил.

Мама вдруг рассмеялась.

– С чего ты взял, что его снесли? Ты так пессимистично настроен ко всему, кроме будущего медных рудников...

– Рано или поздно медь поднимется в цене, – сказал папа холодным от внезапного гнева голосом.

– Дорогой, не обижайся на мои слова! – воскликнула мама. Мы обе встревоженно посмотрели на него, и через минуту папа улыбнулся. Но все равно взглянул на часы и объявил, что пора возвращаться на станцию, если он хочет успеть на шестичасовой поезд до Эдинбурга; глаза его потухли, и он снова приобрел тот потрепанный, обнищавший вид, который иногда замечали даже мы, дети. Мама нежно произнесла:

– Что ж, конечно, не стоит опаздывать на поезд, чтобы не пришлось несколько часов ждать следующий, еще и на этой насквозь продуваемой маленькой станции, хотя, видит бог, нам бы хотелось побыть с тобой подольше. О, как великодушно с твоей стороны помочь мне привезти сюда детей, когда у тебя столько других забот!

– Это меньшее, что я мог сделать, – тяжело ответил он.

Пока подавали двуколку, мы вышли на полированное пемзой крыльцо фермерского дома. Выгон перед нами тянулся до берегов озера – темного, блестящего, идеально круглого в обрамлении серо-зеленой долины. На полпути к воде виднелись два белых пятнышка – моя старшая сестра Корделия и моя близняшка Мэри, и одно синее – мой младший брат Ричард Куин. К тому времени он уже достаточно подрос, чтобы очень быстро бегать, падать, не причиняя себе вреда, лепетать, смеяться и дразниться; мы без усталости играли с ним дни напролет.

Мама окликнула их, чуть запрокинув голову, и голос ее унесся вдаль, словно птичий крик:

– Дети, идите попрощайтесь с отцом!

На мгновение сестры застыли. В этом чудесном новом месте они забыли о беде, которая над нами нависла. Корделия подхватила Ричарда Куина на руки и быстро, но осторожно поспешила к нам; а потом мы вчетвером стояли и во все глаза глядели на папу, чтобы как можно лучше помнить его в те ужасные шесть недель, что проведем в разлуке. Пожалуй, не стоило смотреть так пристально: он был такой чудесный. Мы не идеализировали его по-детски; о некоторых вещах мы судили довольно объективно. Мы знали, что мама нехороша собой. Слишком худая, с блестящими, словно кость, носом и лбом и вечно искаженным от нервного напряжения лицом. Вдобавок мы были так бедны, что она никогда не носила новой одежды. Зато мы признавали, что наш папа гораздо красивее, чем папы других детей. Невысокий, но стройный и грациозный, с осанкой, как у фехтовальщика на картинке, мрачный, как романтический герой; его волосы и усы были по-настоящему черными, кожа смуглой от загара, а щеки слегка розоватыми; из-за высоких скул он казался хитрым и напоминал кота – в лице его не было ни намека на глупость. Кроме того, он знал все на свете, побывал во всех уголках мира, даже в Китае, умел рисовать, резать по дереву и мастерить фигурки и кукольные домики. Иногда он играл с нами и рассказывал истории, и тогда каждый миг рядом с ним приносил почти невыносимое счастье, такое сильное, что оно всегда застигало врасплох. Правда, случалось, он не замечал

нас по несколько дней, что тоже было невыносимым. Но сейчас и это равнодушие казалось лучше, чем разлука на шесть недель.

– Дети, дети, скоро мы снова будем вместе, – сказал папа, – и вам здесь понравится! – Он указал на холмы за озером. – Еще до конца каникул они станут лиловыми. Вам понравится.

– Лиловыми? – Мы не понимали, что он имел в виду. Все мы родились в Южной Африке и покинули ее меньше года назад.

Когда он описал, как цветет вереск, Корделия, которая была старше нас с Мэри почти на два года, чем частенько пользовалась, шумно вздохнула и сказала:

– О боже! Меня ждут кошмарные каникулы. Дети станут постоянно разбредаться, чтобы на него посмотреть, и теряться в холмах, а мне придется бегать за ними и возвращать. Да еще это озеро, в которое они непременно упадут.

– Дура, мы обе плаваем не хуже тебя, – пробурчала Мэри, и действительно: все мы, девочки, еще в раннем детстве научились плавать на южноафриканском побережье.

Мама услышала и сказала:

– О Мэри, не ссорься сейчас с Корделией.

И Мэри ее поддразнила:

– А когда можно?

Корделия состроила гримасу отчаяния, словно человек, несущий незаметное для мира тяжкое бремя, и я прошептала Мэри:

– Потом надерем ей уши.

Но потом мы отвлеклись на мамины слова.

– Значит, я верно поняла, что завтра ты приедешь в Лондон и, надо полагать, сразу же посетишь мистера Морпурго?

– Нет, – ответил папа. – Нет, я отправлюсь прямиком в редакцию в Лавгроуве.

– И не повидаете мистера Морпурго? Не поблагодаришь его? О, но ведь он, несомненно, ожидает, что ты в первую очередь поедешь к нему.

– Нет, – сказал папа. – Он говорит, что не хочет меня видеть. – Мамин взгляд застыл, и папа презрительно хмыкнул. – Он всегда был робким малым. Сейчас его что-то задело, и, по его словам, он рад, что я стану редактором в его газете, но мне лучше иметь дело с одним из управляющих, которые занимаются подобными мелочами, и нам незачем встречаться. Пусть он поступает по-своему, хоть мне и непонятно, какая муха его укусила.

Мама, вероятно, понимала больше.

– Ну что ж, – проговорила она, судорожно вздохнув. – Ты сразу же поедешь в редакцию в Лавгроуве и уладишь все насчет работы, поищешь нам дом, потом съездишь в Ирландию повидать своего дядю, а потом я привезу детей и мебель, чтобы успеть подготовиться к началу триместра в школе и твоему выходу на работу первого октября. Все так и будет, верно?

– Да-да, дорогая, – ответил он, – именно так.

Папа поцеловал нас всех, начиная с Корделии и заканчивая Ричардом Куином, он всегда строго соблюдал этот порядок. Одно время мы с Мэри расстраивались, поскольку были решительно против права первородства, пока Мэри не пришло в голову, что ведь и мы сначала съедаем гарнир, а самое вкусное оставляем напоследок. Потом он нагнулся к маме, приложил свой уса́тый рот к ее щеке и, подняв голову, невзначай спросил:

– Как долго вы сможете здесь оставаться?

Мамино лицо скривилось.

– Но ведь я тебе говорила. Я взяла деньги, которые австралийцы дали мне за квартиру, расплатилась по долгам с домовладельцем и рассчиталась с лавочниками, и на то, что осталось, мы сможем жить здесь до третьей недели сентября. Но не дольше. Не дольше. Но почему ты спрашиваешь? Разве мы не определились с планами? Разве все будет не так, как мы только что договорились?

– Так, так, – ответил отец.

– Если что-то изменилось, скажи мне, – горячо взмолилась она. – Я все могу вынести. Но мне нужно знать.

Мы наблюдали за ними с далеко не праздным любопытством. Почему мы так скоро покидаем Эдинбург? Перед отъездом из Южной Африки, где мы вполне спокойно жили на периферии войны, мама сказала, что, поскольку папа станет заместителем редактора в «Каледонце», мы пробудем в Эдинбурге, пока не повзрослеем и не отправимся учиться в какую-нибудь из замечательных лондонских музыкальных школ, как и она в свое время. А в Южной Африке – почему мы так внезапно перебрались из Кейптауна в Дурбан? И почему мама так огорчалась из-за вынужденных переездов, между тем как папа оставался спокоен, но говорил отстраненно, как если бы все это происходило с кем-то другим, и то и дело тихо и презрительно усмехался. Именно так он и вел себя сейчас, подходя к двуколке.

– Моя дорогая Клэр, тут и знать нечего, – сказал он и вскочил на козлы рядом с извозчиком.

– Береги себя! – крикнула мама. – И пиши! Пиши! Хотя бы открытку, если будешь слишком занят для письма. Но пиши!

Мы наблюдали, как двуколка тронулась, миновала участок дороги, ведущий к концу долины, и исчезла за перевалом. Это не заняло много времени. Мальчик на козлах изо всех сил подгонял лошадь; люди всегда старались показать себя лучшим образом перед папой. Потом Ричард Куин дернул маму за подол и сказал на своем лепечущем языке, чтобы она не плакала и что он хочет пить. Мы вернулись в гостиную и с обожанием смотрели, как он сидит у мамы на коленях и жадно глотает молоко, подрагивая от усилия и удовольствия, словно щенок перед блюдцем.

– Кто такой мистер Морпурго? – спросила Мэри. – Какое смешное имя. Как у фокусника. «Великий Морпурго».

Она прекрасно понимала, что этот неизвестный нам мужчина чем-то встревожил маму, и спрашивала ее не из пустого любопытства. Мы были маленькими, но хитрыми как лисы. А как иначе. Приходилось держать нос по ветру, предугадывать, с какой стороны нагрянет новая беда, и принимать меры предосторожности, многие из которых наши родители бы не одобрили. Когда в «Каледонце» начались неприятности, мы с Мэри сказали детям из соседней квартиры, что папе предложили в другом месте должность получше. Благодаря этому, когда мама была несчастна, соседи относились к ней не с меньшим, а даже с большим уважением; к тому же, как мы часто напоминали друг другу, наши слова оказались правдой, ведь папа действительно устроился в «Лавгроув газетт». Мы нашли для себя самый верный способ поведения и не собирались отказываться от него из-за щепетильности взрослых.

– Мистер Морпурго – наш благодетель, за которого мы должны молиться всю нашу жизнь, – ответила мама. – Он очень богатый человек, кажется, банкир, и, с тех пор как он познакомился с вашим папой на каком-то корабле, делал для него все возможное. Это он предложил ему должность в Дурбане после того, как владельцы газеты в Кейптауне стали вести себя так странно. Они не давали ему совершенно никаких поблажек. А теперь, когда работа в «Каледонце» обернулась для вашего папы таким разочарованием, мистер Морпурго назначил его редактором своей газеты на юге Лондона. Не знаю, что стало бы с нами, если бы не он. Впрочем, что это я? Не думайте, что ваш папа не нашел бы способа о нас позаботиться. Он никогда нас не подведет. – Она наклонила чашку, чтобы Ричард Куин выпил оставшееся молоко.

– Как выглядит мистер Морпурго? – спросила я.

– Не знаю, – ответила мама. – Кажется, я с ним ни разу не встречалась. Но они давно знакомы с вашим папой. Мистер Морпурго восхищается им. Как и все, кроме тех, кто ему завидует.

– С чего бы ему завидовать? – спросила Корделия. – У нас ведь так мало денег.

– О, люди завидуют его уму, наружности, всему, что в нем есть, – вздохнула мама, – и потом, он всегда прав, когда остальные ошибаются, чего ни о ком из вас, – ее голос стал строгим, а горящие черные глаза поочередно остановились на каждой из нас, – вероятно, нельзя будет сказать никогда. – Потом она, смягчившись, посмотрела на Ричарда Куина, который держал чашку почти вверх дном, пытаясь вылить себе в рот последние капли. – Нет, мой ягненок. Нельзя так громко хлюпать, когда пьешь, перестань, это неправильно. Если не научишься пить тихо, то превратишься в поросенка и придется поселить тебя в свинарнике. Возможно, тебе там понравится, но твои бедные сестры захотят жить с тобой, а для них места не хватит, и они расстроятся, подумай о них, ведь они так тебя любят. О мой маленький ягненок, хотела бы я знать, на каком инструменте ты будешь играть. Незнание так раздражает.

Разумеется, все мы на чем-то играли. Точно так же, как в папиной семье в Ирландии все были солдатами или солдатскими женами, в мамином роду в Западном нагорье все, по крайней мере последние пять поколений, были музыкантами. Они не увековечили свои имена в истории музыки – возможно, потому что умирали совсем молодыми, – но мамин дед уехал в Австрию, играл в оркестре Венской оперы и беседовал с Бетховеном и Шубертом, ее отец служил придворным капельмейстером в маленьком немецком княжестве, покойный брат был довольно известным дирижером и композитором, а сама она могла бы стать знаменитой пианисткой. Годом к двадцати пяти мама уже была известна, но однажды вечером, прямо перед выходом на сцену в Женеве, ей вручили телеграмму, где сообщалось, что ее любимый брат умер в Индии от солнечного удара. Она отыграла программу, а потом вернулась в гостиницу и впала в лихорадку, которая продолжалась несколько недель и оставила маму в состоянии меланхолии; чтобы исцелиться, она отправилась в кругосветное путешествие в качестве компаньонки пожилой женщины, восхищавшейся ее игрой. На Цейлоне она познакомилась с папой, который как раз уходил с хорошей должности на чайной плантации. Они поженились и уплыли в Южную Африку, где какой-то родственник подыскал ему другую достойную работу. Но там ему тоже не повезло, мама никогда не рассказывала нам, в чем именно. Впрочем, это было неважно. К тому моменту он уже обнаружил в себе талант к писательству и запросто получил должность автора передовиц в кейптаунской газете. А у мамы уже появились мы, а вместе с нами и много забот. Теперь же ей перевалило за сорок, пальцы ее стали неловкими, нервы испортились, и возвращаться к музыке было поздно. Зато она учила играть нас, и, хотя Корделия оказалась безнадежна и к семи годам мама окончательно махнула на нее рукой, у нас с Мэри получалось неплохо. И мы почему-то знали, что Ричарда Куина тоже ждет успех. Он уже хорошо освоил треугольник, с которого все мы начинали.

– Вряд ли это будет фортепиано, – сказала мама, пристально разглядывая его, словно силась прочесть на его коже название инструмента, который он освоит. Мы думали так же. Уже тогда сложно было вообразить Ричарда Куина за фортепиано – инструментом прямолинейным, монументальным, превосходящим размерами того, кто на нем играет, и равнодушным ко всему, кроме ударов по клавишам, – однако вполне можно было представить, как он берет в руки скрипку или кларнет. – Что же до вас, Мэри и Роуз, – продолжала она, – «Эрар» в углу старый, но рабочий. Каждые полгода сюда приезжает настройщик из Пенниквика. Судьба к нам благоволит. Уиры разрешили вам играть в любое время, кроме воскресений. Давайте без отговорок, вы должны упражняться так же регулярно, как дома. И пока мы здесь, я буду давать вам пять уроков в неделю вместо трех. У меня появилось больше времени.

– А как насчет меня? – спросила Корделия.

Мы с Мэри, забыв о ненависти, посмотрели на нее с нежностью, а мама после паузы ответила:

– О, не беспокойся, у тебя будут занятия, как и у остальных.

Корделия даже не догадывалась, что у нее нет способностей к музыке. В то время, когда мама перестала давать ей уроки фортепиано, одна из девочек в соседнем доме начала зани-

маться скрипкой. Корделия потребовала, чтобы ее тоже учили игре на скрипке, и с тех пор проявляла колоссальное, но бесплодное усердие. Она обладала верным, поистине абсолютным слухом, какого не было ни у мамы, ни у Мэри, ни у меня, но в ее случае он пропадал понапрасну; ее гибкие пальцы гнулись до самого запястья, и она могла прочесть любую композицию с листа. Но мама морщилась – сначала от ярости, а потом от жалости – всякий раз, когда слышала, как Корделия водит смычком по струнам. Мелодия звучала ужасно грязно, а музыкальные фразы напоминали поучения, которые недалекий взрослый дает своему ребенку. Вдобавок она, в отличие от нас, не видела разницы между хорошей музыкой и плохой.

Корделия была немзыкальна не по своей вине. Мама часто нам об этом напоминала. Дети похожи либо на отцовскую, либо на материнскую родню, и Корделия пошла в папу, что, бесспорно, давало ей некоторые преимущества. У Мэри были черные волосы, а у меня – каштановые, самые обыкновенные, как и у многих других девочек. Но хотя папа был смуглым брюнетом, в его семье рождались и рыжие, поэтому голову Корделии покрывали короткие золотисто-рыжие кудряшки, сиявшие на солнце и заставлявшие прохожих оборачиваться ей вслед. С этим было связано и еще кое-что, с чем нам было совсем сложно смириться. По папиному настоянию мама следила, чтобы Корделию стригли коротко, хотя мода на такие стрижки прошла давным-давно и вернулась лишь много лет спустя. У него дома в Ирландии висел портрет его тети Люси, которая сразу после наполеоновских войн отправилась в Париж, где барон Жерар² написал ее в хитоне и леопардовой шкуре, с волосами, уложенными *à la Bacchante*³. Поскольку Корделия была очень на нее похожа, папа настоял, чтобы она носила прическу в том же стиле, и озадаченные парикмахеры из Южной Африки и Эдинбурга старались изо всех сил.

Нас с Мэри это огорчало. Нам казалось, что по несправедливой прихоти природы папа не только был ближе к Корделии, чем к нам, но и старался, чтобы она соответствовала его вкусу. С нами он ничего подобного не делал. И никто другой нами не занимался. Из-за игры на фортепиано ни нам, ни маме не хватало времени, чтобы приложить усилия и сотворить из нас совершенство, мы оставались необработанным сырьем. А еще нам приходилось не только играть на фортепиано, но и выполнять другую работу, а маме – делать покупки, помогать по дому и улаживать папины проблемы, из-за чего она никогда не выглядела опрятной и нарядной, как другие мамы, а мы в школе производили на учителей впечатление нерях и торопыг. Однако возможность играть на фортепиано с лихвой компенсировала эту несправедливость. Пусть в папиной семье кому-то достались рыжие волосы, но зато никто не обладал и крупницей музыкального таланта, а мы считали, что лучше быть одаренными, как мама, чем иметь золотисто-рыжие локоны и выставять себя полными дурами, играя на скрипке, как Корделия. Мы жалели Корделию, особенно сейчас, когда папа, от которого она столько всего переняла, уехал на шесть недель. Но в любом случае она была тупицей, раз воображала, будто умеет играть на скрипке, – как если бы мы с Мэри считали себя рыжими.

Воздух в комнате вибрировал от любви и неприязни, снисхождения и обид. Но тут вошла жена фермера и спросила, не хотим ли мы посмотреть на кобылу с жеребенком, которых ее муж только что привез с фермы на холме, и мы отправились в обитель животных. Но и здесь нас штормило, все казалось неустойчивым. Перво-наперво мы подошли к собакам колли и дали им себя обнюхать и облизать, чтобы они признали в нас своих, не лаяли и не кусались. Нам это не понравилось, мы не любили злобных животных, которых приходилось задабривать, чтобы они держались дружелюбно с такими безобидными людьми, как мы с мамой.

– Но ведь они сторожевые псы, – напомнила нам мама, – они защищают ферму от воров.

² Барон Франсуа Паскаль Симон Жерар (1770–1837) – ведущий портретист при дворе Наполеона Бонапарта, представитель художественного стиля ампира. *Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.*

³ «А-ля вакханка» (фр.); волосы коротко подстрижены и завиты мелкими кудрями.

– От каких воров? – насмешливо спросили мы и победно оглядели амфитеатр из пустынных зеленых холмов, словно в столь невинных декорациях могли разыгрываться исключительно невинные сцены. Странно, но в те дни в воздухе витало убеждение, что война, преступность и любая жестокость вот-вот исчезнут с лица земли, и даже маленькие девочки верили, что так оно и будет.

Потом жена фермера указала в сторону пастбищ на склоне холма, испещренных коричневыми пятнышками, и сказала не ходить туда, потому что с коровами пасется бык. Мы не возражали – возможно, мы чувствовали, что таинственная охранная грамота, выданная нам Вселенной, не защищает от быков, и у нас пересыхало во рту, стоило представить себя в тех полях, особенно вместе с Ричардом Куином. Но в хлеву стоял молодняк: телята младше года, чьей воспитанности и дружелюбию мы могли только позавидовать, и теленок двух дней от роду, лежавший на земле, словно огромный моток желтовато-коричневой шелковой пряжи, и боявшийся нас так же сильно, как мы могли бы бояться собак и быка, если бы не заглушили свой страх, чтобы никто не думал, будто девочки трусливее мальчишек. Феминизм в те времена тоже витал в воздухе, даже в воздухе детской спальни. Однако фермерские коты зашипели на нас, и, несмотря на нашу храбрость, мы отдернули руки, пока они, больше похожие на грабителей, на Чарльза Писа⁴, чем на кошек, злобно сверкали глазами.

– Помните, что бедняжки должны сражаться с крысами, а значит, им не до ласки, – сказала мама. – Они не могут себе позволить такой роскоши.

Но нас волновала не жестокость этого мира, а безопасность Ричарда Куина.

Однако, увидев в деннике новую кобылу и ее жеребенка, мы поняли, что надежда есть. Длинная прямая челка, свисавшая меж больших ушей, делала лошадь похожей на дурнушку в безобразной шляпе, она глядела тревожно, словно была человеком и умела считать, она выглядела над нами, но казалось невозможным, чтобы она направила свою силу против нас и причинила нам вред. Длинноногий жеребенок дичился, будто ему велели не шуметь и не сердить людей в этом новом месте, куда их с матерью привела судьба. Кобыла напомнила мне одну вдову с ребенком – смиренную, услужливую, но печальную, я видела ее в одном из бюро по найму, куда иногда заходила моя мать. (Несмотря на нехватку денег, нам помогала служанка, в те дни даже бедные семьи держали прислугу и делили нужду с еще более обездоленными девушками.) Мы вошли в темную конюшню и не смогли разглядеть ничего, кроме белых звездочек на лбах лошадей, длинных белых полос на их мордах, белых чулок на их ногах и белых отблесков света высоко на стене, которые отбрасывало сдвоенное арочное окно. Ферму построили на руинах средневекового замка, служившего местом встречи рыцарей-тамплиеров, и там, где сейчас стояла конюшня, когда-то находился пиршественный зал. Вскоре мы привыкли к темноте и увидели, что лошади смотрят на нас кротко, но настороженно, будто давая понять, что при необходимости могут и взбрыкнуть; мы разглядели их круглые, как бочки, опоясанные тела, их прямые, как стволы деревьев, передние ноги, их упругие, как пружины, коварные задние ноги, их круглые, широко расставленные копыта – всю ту силу, что казалась слишком мирной и безобидной, чтобы желать нам зла. То были хорошие создания. Увидев двух мышей, резвившихся на соломенной подстилке под одной из великанш, мы в этом убедились.

Путешествие, расставание с папой и знакомство с животными настолько утомили нас, что мы отправились спать лишь немногим позже Ричарда Куина, еще засветло, хотя обычно не ложились, пока родители нас не прогонят. Корделия, Мэри и я спали в одной комнате: мы с Мэри – на двуспальной кровати с высокой спинкой из красного дерева, украшенной резным узором из фруктов и цветов, а Корделия – на раскладушке в ее изножье. Она так часто металась во сне, выкрикивая какие-то распоряжения, что спать с ней было невозможно. Мы с Мэри по ночам уютно сворачивались калачиками – одна утыкалась лицом в спину другой и прижи-

⁴ Чарльз Пис (1832–1879) – английский убийца и грабитель.

малась к ней животом – и забывались до самого утра. Мэри – высокая, стройная, сдержанная и рассудительная – с раннего детства казалась взрослой, за фортепиано она могла спокойно разобраться с аппликатурой в любых сложных местах, тогда как я пыталась справиться с ними с наскоку, горячилась и плакала; со мной она всегда была мягкой и покладистой, и вместе мы походили на двух медвежат.

Когда мама желала нам спокойной ночи, я заметила, что с тех пор, как она стала общаться с работниками фермы, ее шотландский акцент значительно усилился и речь стала мелодичной, почти как песня. Она звучала очень красиво. Мама попросила разбудить ее, если ночью нам что-нибудь понадобится. Для этого не нужно было даже выходить в коридор, дверь возле окна вела не в чулан, как могло показаться, а в комнату, где спали они с Ричардом Куином. Она всегда говорила что-то такое, но мы считали себя очень независимыми и взрослыми и не нуждались в помощи. И все же, погружаясь в сон, мы все равно подумали, как это мило с ее стороны.

Внезапно мы проснулись. Я чувствовала себя такой бодрой, словно и вовсе не засыпала. Я вытянула руку и обнаружила, что Мэри сидит прямо, прислонившись спиной к изголовью; под Корделией скрипнула раскладушка, когда она встала. Я не видела ничего в темноте, но слышала ужасный шум. Казалось, будто ночь испугалась самой себя и кто-то или что-то бьет в барабан. Шум был не очень громким, но гулким, как если бы сама земля стала барабаном. Звук пробуждал такую же тоску, как папин отъезд и редкие мамины слезы. В каждом ударе звенела печаль, снова и снова.

Шум прекратился. Ладонь Мэри нырнула в мою.

– Интересно, что это было? – выдохнула я, облизнув губы.

Все-таки Корделия как старшая могла знать что-то, чего не знали мы.

– Ничего, – ответила Корделия. – Ничего серьезного. Работники фермы наверняка тоже слышали это. Если бы нам грозила опасность, они бы пришли и предупредили нас.

– А вдруг раньше ничего такого не случилось? – спросила Мэри.

– Да, может, это конец света, – подхватила я.

– Чепуха, – сказала Корделия, – при нашей жизни конец света не наступит.

– А почему бы и нет? – спросила я. – Должен же он когда-то наступить.

– Наверное, было бы интересно на него посмотреть, – добавила Мэри.

– Засыпайте, – сказала Корделия.

– Заснем, если захотим, – ответила Мэри, – нечего нам указывать.

– Я старшая.

Бой в огромный барабан возобновился.

– Мэри, мама говорила, что с твоей стороны есть свечка, – вспомнила я. – Зажги ее, и мы сможем увидеть в окно, что происходит.

В темноте послышалось чирканье спичек о коробок, но огонек все не загорался.

– Не понимаю, почему мама не оставила свечу мне, – сказала Корделия.

– Потому что рядом с тобой нет стола, тупица, – ответила Мэри. – Кажется, спички отсырели, они не зажигаются.

– Ты придумываешь оправдания своей криворукости, – сказала Корделия.

– А ты злишься, потому что струсил, – парировала Мэри.

Шум усилился, возвещая о мучительной утрате и обреченности. Внезапно тьму залил тусклый колеблющийся свет – дверь в стене отворилась, и вошла мама, в одной руке держа подсвечник, а другой потирая глаза.

– Дети, что же вы так громко разговариваете среди ночи? – спросила она. – Мы здесь не одни, как было раньше, вы можете разбудить Уиров, а они так тяжело трудятся.

– Мама, что это за ужасный шум?

– Ужасный шум!.. Какой ужасный шум? – спросила она, сонно глядя на нас и зевая.

– Ну как же, тот, что мы сейчас слышим, – ответила Мэри.

– Что же происходит? – пробормотала мама. Она заставила себя прислушаться, и лицо ее прояснилось. – Дети, да ведь это лошади бьют копытами в своих стойлах.

Мы были потрясены.

– Как, те самые лошади, которых мы сегодня видели?

– Да, те самые. Что ж, теперь, когда я это слышу, меня не удивляет, что вы испугались. Невероятно, что такой грохот поднимают лошадиные копыта.

– Но почему это звучит так печально?

– Ну, гром тоже грохочет тоскливо, словно наступили последние времена, – ответила она, зевая. – И море зачастую шумит грустно, а ветер в деревьях – и вовсе почти всегда. Засыпайте, мои ягнятки.

– Но как топот лошадиных копыт может быть настолько печальным? – спросила я.

– Ну а почему иногда становится так грустно, когда мама перебирает пальцами по клавишам, если это просто брусочки из слоновой кости? – спросила Мэри.

– Прошу вас, давайте подумаем об этом завтра, – сказала мама. – Хотя, право, сама не знаю, зачем обещаю вам, что мы до чего-то додумаемся. Если завтра или в любой другой день вы спросите меня, почему одни звуки вызывают тоску, а другие – радость, я не смогу ответить. Этого не сможет объяснить даже ваш папа. Что за странный вопрос, мои лапочки! Если бы вы знали ответ, то знали бы всё. Доброй ночи, дорогие мои, доброй ночи.

Первые десять дней или около того мы были счастливы на ферме. Нас опьянял воздух холмов, ведь никогда ранее мы не проводили столько часов так высоко над морем.

– А в настоящих горах еще лучше, – сказала мама. – Ах, дети, когда вы станете успешными, непременно поезжайте в Швейцарию. Там, в Давосе, воздух так чист, что все вокруг кажется отполированным мягкой тряпочкой.

– В Швейцарию? – с сомнением переспросили мы и объявили, что собираемся забраться еще выше – на Килиманджаро, Попокатепетль и Эверест. Да, мыждемся, когда Ричард Куин достаточно подрастет, и станем первой командой, взойшедшей на Эверест.

– Нет-нет, – возразила мама без намека на улыбку, – какой Эверест. Вот увидите, когда вы добьетесь успеха, у вас будет много забот с концертами, даже слишком много.

Подобные замечания она отпускала часто и со всей серьезностью, и они доставляли нам самые большие неудобства в нашей жизни. Из-за них обычные люди, поговорив с ней недолго, удалялись в полной уверенности, что она глупа или даже безумна. На самом же деле мама проявляла великолепнейшее здравомыслие. Она бы и сама поднялась на Эверест, сложишь ее жизнь иначе, а учитывая то, как стремительно менялся мир, такой шанс мог выпасть нам; она едва не стала знаменитой пианисткой и полагала, что мы с нашими талантами преуспеем там, где она потерпела неудачу только по невезению; и, в конце концов, она обращалась к детям и потому говорила как ребенок, это все равно что играть Баха в стиле Баха, а Брамса – в стиле Брамса.

Каникулы мы превратили в подготовку к Эвересту, в испытание на прочность, и она отнеслась к этому с пониманием, но считала, что во всем следует соблюдать меру. Мы думали, что в свободное от занятий время станем прогуливаться по вересковым пустошам, но оказалось, что помогать на ферме и выполнять задания, для которых мы, по мнению фермера и его жены, были недостаточно сильными и взрослыми, намного веселее. Мы относили забытые корзины с лепешками мужчинам, трудившимся за перевалом, в самом дальнем поле; полировали лошадиные сбруи перед поездками на рынок; обрывали цветки с лавандовых кустов в саду и раскладывали их сушиться на досках под солнцем, накрыв марлей. Мама позволяла делать то, что нам нравится, лишь бы мы проводили за фортепиано положенные часы, что давалось нам легко, поскольку на каникулах, без всех этих дурацких домашних заданий, мы всегда играли лучше, и сейчас наши пальцы бегали по клавишам в два раза проворнее обычного. После заня-

тий мама присоединялась к нашей восхитительной, почетной, новой и увлекательной работе по хозяйству, хотя поначалу фермер и его жена держались от нее на расстоянии. На следующее утро после того, как мы приехали сюда, она совершила один из тех поступков, из-за которых ее считали странной. Она беспечно вывалила на кухонный стол горку банкнот Банка Шотландии и соверенов – полную сумму, что обязалась уплатить за шесть недель наших каникул. Костлявые мрачные Уиры с рыжеватыми, как песок, волосами подозрительно уставились на нее с глупым прищуром. Они недоумевали, с чего бы кто-то захотел платить вперед без необходимости и почему это вдруг зрелая женщина смеется, словно девица, идущая на бал. Мы ее понимали. Мама радовалась, что может ненадолго вырваться из когтей таинственной силы, что уничтожала без следа все деньги в нашей семье; внести плату без малейшей просрочки было роскошью, недоступной для нее годами. Но такое не объяснишь. Мы видели, что Уиры, судя по всему, считали ее глупой и нерадивой женщиной, которой некого винить в своей бедности, кроме себя самой. Но вскоре все изменилось. Однажды мама помогла миссис Уир на маслобойне. Она научилась сбивать масло в детстве, и сейчас ее руки вспомнили, что нужно делать; они двигались так же точно и ловко, как и во время игры на фортепиано, и жена фермера поняла, что заблуждалась на ее счет. Мама стала нравиться им даже больше, чем мы, и с каждым днем она выглядела все моложе, ела все лучше, а взгляд ее почти перестал стекленеть.

Но это продлилось недолго. Вскоре она вновь приобрела нездоровый вид, потеряла аппетит и стала менее требовательной во время уроков.

– Как по-твоему, что ее беспокоит? – спросила однажды Мэри, когда мы собирали фасоль в огороде. Мама только что прошла мимо с Ричардом Куином на руках; я не сказала этого вслух, но она, несмотря на энергичность и проворность, напомнила мне ту новую кобылу с жеребенком.

– Ну, папа до сих пор не написал, – ответила я.

– Мне тоже кажется, что дело в этом, – сказала Мэри. – Только никак не пойму, почему она думала, что он напишет.

– А ты знала, что не напишет? – спросила я.

– Я думала, что, скорее всего, забудет.

Мне не понравилось, что она угадала, как он поступит, а я нет.

– Никак не пойму, – продолжала Мэри, – почему они до сих пор друг к другу не привыкли. Мама вечно удивляется, когда папа не пишет или делает еще что-нибудь вроде этого. А папа удивляется, когда мама хочет платить по счетам.

– Да, и мама очень расстраивается.

– Уму непостижимо.

Их отношения давно не давали нам покоя. Мы понимали, что важны для папы, а он – для нас, потому что в нас течет одна кровь. Ясно было и то, что мы необходимы маме, и это взаимно. Но нам не верилось, что мама с папой много значат друг для друга, не приходится друг другу родней.

– Но, Мэри, я вот о чем думаю. Что будет, если папа никогда не напишет?

– Если он не вернется?

– Да.

– Я умру, – ответила Мэри.

– Я тоже. – Я отошла от фасоли и посмотрела на окружавшие нас зеленые холмы, что сливались и подрагивали сквозь стекло моих слез. Когда я вытерла глаза, холмы остались недвижны и незыблемы. – Но что мы будем делать? – спросила я.

– О, мы станем работать, устроимся на какую-нибудь фабрику, в лавку или контору, а может, пойдем в служанки, и наших общих заработков хватит, чтобы позаботиться о маме и о Ричарде Куине, пока он не подрастет, – ответила Мэри.

– Но мне кажется, есть какой-то закон, запрещающий детям работать, – возразила я.

– Можно схитрить и сказать, что мы старше. Все вечно удивляются, когда узнают, сколько нам лет.

– Это да.

– В любом случае все будет хорошо, – пообещала Мэри. – Честное слово. Ведь по вечерам мы продолжим заниматься на фортепиано и в один прекрасный день станем пианистками, и тогда все наладится.

– Ну да, конечно, я и не беспокоюсь, – сказала я. – Думаю, мы набрали достаточно фасоли.

Мама не заметила нас у грядки, когда проходила через огород, иначе она бы не выглядела такой несчастной. Вместо этого она вела бы себя как больная женщина, которая позирует для фотографии, стараясь выглядеть здоровой. Она вновь впала в задумчивость и смотрела в одну точку, но при этом постоянно улыбалась и энергично приветствовала всех, кого встречала на ферме – «Еще один ясный денек» или «Не очень-то солнечно, но для разнообразия немного прохлады не помешает», – нередко обращаясь к одним и тем же людям дважды. Спокойствием веяло от погожих дней – лето выдалось на редкость славное. Спокойными были окрестные холмы; ферма располагалась выше других хозяйств на отроге Пентландских холмов, никто к нам не поднимался, августовские туристы срезали путь к главному хребту по пешеходной тропинке, и мы видели их разве что на горизонте. Это спокойствие тревожно контрастировало с маминым беспокойством, и работники фермы вновь начали поглядывать на нее с подозрением.

Однажды днем я вышла из конюшни, держа в руке отполированную, ярко сияющую оковку для сбруи, и увидела маму на каменной ограде, отделявшей выгон от сада. Примерно через четверть часа должен был прийти почтальон, и мама раскачивалась взад-вперед, несильно, но все равно неестественно, словно заранее знала, что не получит письма, и чувствовала себя брошенной. Я посмотрела через сад на фермерский дом, и мне показалось, что из-за кружевных занавесок в комнате Уиров кто-то наблюдает за нами. Скорее всего, это была миссис Уир, от которой я ожидала восторгов по поводу начищенной оковки. Я разрывалась между жалостью к маме и раздражением из-за того, что нам приходится труднее, чем другим детям, и что я не услышу заслуженной похвалы. Возвышенное и низменное соединились в моей голове, и я спрашивала себя, должно ли мне быть за это стыдно. Я положила оковку на ограду, но потом, вспомнив, как часто теряю вещи, подняла ее и сунула за резинку своих панталон около колена. Я обняла маму за шею, поцеловала ее растрепанные волосы и прошептала:

– Если ты волнуешься из-за того, что папа не пишет, почему бы тебе не телеграфировать в редакцию газеты в Лавгроуве или его дядям и родне в Ирландию? Он наверняка в одном из этих мест.

Она ответила шепотом. Приглушая голос, было легче притворяться, что ничего не происходит.

– Роуз, ты смышленное дитя.

– Хочешь сказать, у нас нет для этого шестипенсовика? – храбро спросила я.

– О нет, к счастью, шестипенсовик у нас есть. Но, видишь ли, я не хочу, чтобы они узнали, что твой папа не сообщил нам, где находится. Они сочтут это странным.

– Ну, так и есть.

– Но не в том смысле, в каком поймут они, – с надеждой возразила она. – О, ничего не поделать, мы должны ждать. И со временем он напишет. Письмо может прийти прямо сегодня.

Мы поцеловались. Она отвела свои губы от моих, чтобы по-прежнему шепотом сказать:

– Не рассказывай остальным.

Меня поразило ее простодушие.

Из конюшни вышла Мэри, оглядела двор и, сообразив, что что-то не так, подошла к нам.

– Мама, не жди почту, сегодня вторник, а по вторникам никогда не случается ничего хорошего, – сказала она и умолкла.

В спальне начала упражняться Корделия. Мы втроем молча слушали ее гаммы. Потом она оборвала игру и повторила несколько тактов.

– Даже с кошками не сравнить, – сказала Мэри. – Кошки и то лучше попадают в ноты.

– Ах, дети, дети, – произнесла мама. – Не будьте столь нетерпимы к своей бедной сестре. Все могло быть гораздо хуже, если бы она родилась глухой или слепой.

– Она бы не заметила большой разницы, – сказала Мэри, – потому что, как и сейчас, не знала бы, что с ней что-то не так, и попала бы в одно из тех больших специальных заведений с садами, которые видно из окна поезда, и о ней бы заботились те, кто хорошо относится к глухим и слепым людям. Но для плохих скрипачей приютов нет.

– Приюты для плохих музыкантов, какая ужасная идея, – отозвалась мама. – Хуже всего было бы в заведении для обладательниц неприятного контральто. Оттуда доносились бы такие жуткие звуки, что люди боялись бы приближаться к нему по ночам, особенно в полнолуние. Но вы, дети, излишне жестоки к своей сестре, и если бы я вас не знала, то посчитала бы злючками. Кроме того, она не так уж безнадежна. Сегодня она и вовсе не плоха. Она стала играть намного лучше, чем раньше. Боже мой, это ужасно! Невозможно слушать, я должна попытаться помочь бедняжке.

Мама поспешила к дому по садовой дорожке, заламывая руки. Со стороны она походила на женщину, которая только что вспомнила, что оставила младенца без присмотра в комнате с горящим камином или опасной собакой. Мы с Мэри сели на ограду и стали болтать ногами, как вдруг я вспомнила об оковке в панталонах. В своем тайничке она потускнела, и я снова принялась ее натирать.

– Только послушай, как это нелепо звучит, – холодно сказала Мэри.

Иногда становилось тихо; мама не умела играть на скрипке, поэтому ей приходилось проговаривать или напевать свои наставления. В промежутках между ними Корделия повторяла свою мелодию, каждый раз без улучшений, но с новыми ошибками.

– Что здесь смешного? – произнесла Мэри сквозь зубы.

– Как же мне не смеяться, – ответила я. – Смешно, когда кто-то раз за разом падает на льду, тем более Корделии даже не больно.

Я знала Мэри как облупленную и чувствовала, что она прикидывает, не утереть ли мне нос, притворившись, будто знает, как поступили бы учителя в школе, и будто она слишком взрослая, чтобы считать падения на льду смешными. И все же я продолжала полировать оковку. Я была уверена, что она не поступит нечестно, ведь ее сместило, когда кто-нибудь поскальзывался, да и вообще, ей не очень-то хотелось обставить меня.

Внезапно она тихо произнесла:

– Вон по дорожке идет миссис Уир. С той своей кузиной из Глазго. Сейчас будут нас расспрашивать.

Мы знали, что делать. Я, потупив голову, продолжила свою работу. Мэри наклонилась надо мной и показала пальцем на оковку, словно только увидела на ней рисунок. Миссис Уир пришлось дважды обратиться к нам, прежде чем мы их заметили.

– Простите! – проговорили мы с нарочитым смущением, вставая. Конечно, нам не следовало переигрывать, но мы постарались извлечь из ситуации все возможное.

– Ваша старшая сестрица – знатная скрипачка, – сказала миссис Уир.

Мы сахарными голосками подтвердили, что так оно и есть.

– Эти детки неплохо бренчат на пианине, – обратилась миссис Уир к кузине. – Еще пешком под стол ходят, а день-деньской трудятся, долбят по клавишам.

В то лето мы увлекались арпеджио⁵ и надеялись, что звуки стекают с наших пальцев, словно масло.

– Марси, ты даешь этим детям играть на своей пианине? – спросила кузина из Глазго глухим, замогильным голосом. – На пианине Элспет?

– А чего, они ж недурственно играют, – продолжала миссис Уир. – Сама-то я не умею. Мы с Элспет брали уроки у старика, что приезжал из Эдинбурга учить помещичьих дочек, да только руки у меня не из того места растут. Элспет это хорошо знала, а пианину мне оставила только из добрых чувств. Да еще те ложки с апостолами, – добавила она так, словно проворачивала нож в ране.

– У ней, видать, больше и не было ничего стоящего, – кисло заметила кузина из Глазго.

– Я б так не сказала, – отозвалась миссис Уир. – Ты, поди, каждый раз, как ставишь катушку ниток на швейную машинку, вспоминаешь про акции Коутсов, которые она оставила. Но она их оставила не тебе, не мне, а бедняжке Лиззи, у которой четверо детишек, а мужа убили при Омдурмане. – Ее взгляд обратился к окну фермы, откуда донеслась неровная, грязная музыкальная фраза, порожденная борьбой Корделии с инструментом. – Ваша мама замаялась ждать своего письма?

Мы стойко отметили про себя, что раздумья о бедственном положении Лиззи мгновенно навели ее на мысли о маме. Мы заняли позиции, словно теннисистки в ожидании подачи: колени полусогнуты, ракетки наперевес, глаза ловят мяч.

– Нет. Она просто пошла помочь Корделии. Наша музыка, – сказала Мэри с улыбкой, – для нее важнее всего на свете.

– Но она, видать, извелась по вестям от вашего папы, – заметила кузина из Глазго без намека на такт.

– О да, – безмятежно ответили мы.

– Мама не привыкла обходиться без папы, – сказала я. – Он никогда не уезжал из дома.

– Только чтобы выступать на политических собраниях, но всегда возвращался на следующий день, – добавила Мэри.

– Тогда, значит, ваша мама здорово тревожится, – сказала кузина из Глазго.

Мы снова улыбнулись.

– Ну, ее беспокоит, что он далеко и она не может за ним присмотреть, – подтвердила я. – Он рассеянный, как все великие писатели.

– А, так ваш папа – великий писатель? – спросила кузина из Глазго. – Хи-хи. Хи-хи. Навроде Робби Бернса?

– Нет, вроде Карлайла, – ответила Мэри.

– Э-гм, – сказала кузина из Глазго.

– Я объясню, чем он похож на Карлайла, если желаете послушать, – предложила Мэри. Это была чистая бравада, и я испугалась, что ее выведут на чистую воду.

– Нет, не сейчас, – ответила кузина из Глазго. – Но он рассеянный. Понятно. Значится, вашей маме он не написал. И часто он не пишет?

– Ну, он нечасто уезжает из дома, и это не нам он не пишет, так что не знаем, – невозмутимо ответила Мэри с усталым видом ребенка, разговаривающего с глупым взрослым.

– По правде сказать, никто у нас отродясь не натирал оковки так ярко, как эти детишки, – произнесла миссис Уир.

– Я не знаю вашу маму, – сказала кузина из Глазго, – но она, кажись, страх как беспокоится. Из-за чего-то.

– О да, она беспокоится, – ответила я. – Она всегда беспокоится за папу.

⁵ Последовательное исполнение звуков аккорда, мелодическая линия. *Прим. ред.*

Повисло молчание, и миссис Уир снова начала было говорить что-то насчет оковки у меня на коленях, но тут кузина из Глазго с приторной улыбкой спросила:

– А почему ваша мама беспокоится за вашего папу?

– Он совершенно безнадежен в денежных вопросах, – ответила я простодушно. Я почувствовала, как Мэри глубоко вдохнула, а миссис Уир смущенно пошевелилась, но не отрываясь смотрела в глаза кузине из Глазго.

– А как это ваш папа безнадежен в денежных вопросах? – почти до смешного непринужденно осведомилась кузина из Глазго.

– Ох, Джинни, полно тебе... – начала миссис Уир, но я ее перебила.

– Ему присылают чеки, а он забывает обналичить их в банке и оставляет по всему дому. – Я не совсем лгала. Однажды такое произошло.

– Или не вскрывает конверт, кладет его в карман, и там он и остается, – подхватила Мэри. Я восхитилась ей. Такого никогда не случалось. По крайней мере, с чеком.

– Однажды пришел довольно крупный чек, и мама нашла его в корзине для бумаг, – сказала я. – Папа принял его за рекламный проспект.

– Крупный чек в корзине для бумаг! Господи, спаси! Бедная женщина! – сказала миссис Уир.

– Крупный чек, – проговорила кузина из Глазго. – Это сколько ж?

– Мы не знаем, – ответила Мэри. – Родители никогда не говорят с нами о деньгах. Они не любят о них волноваться. Считают это вульгарным.

– Да, они бы с радостью их раздали, если бы не мы, – сказала я.

У миссис Уир и кузины из Глазго вырвались вопли ужаса:

– Раздали!.. Царь небесный, экая блажь! Это кому ж?

– Ну как же, – ответила Мэри, снова напустив на себя усталый вид, – беднякам, разумеется.

Мы действительно справились неплохо, учитывая, что у нас не было времени на подготовку. Они нависали над нами в безмолвном недоумении, между тем как я продолжала натирать оковку, а Мэри сорвала длинную травинку и, посасывая ее, стала разглядывать белые подушки облаков в голубом небе. Внезапно задребезжал велосипедный звонок, и женщины, вскрикнув, резко обернулись. Пока они стояли к нам спиной, мы быстро огляделись и увидели, что во двор въехал почтальон. Мой взгляд вернулся к оковке, Мэри снова уставилась на небо.

– А, так приезжал почтальон! – воскликнула Мэри, когда миссис Уир коснулась ее руки и протянула ей телеграмму, адресованную моей матери. Мы нарочито медленным шагом направились к дому и услышали, как кузина из Глазго сказала:

– Ну, телеграмма стоит шесть пенсов, а письмо стоит пенни...

Ее визгливый голос стих, ей не удавалось связать эту мысль с обескураживающей историей, услышанной от двух детей, которые, несомненно, были слишком малы, чтобы лгать.

В маленькой спальне мы нашли маму в таком отчаянии, что оно показалось мне чрезмерным. Конечно, Корделии не давалась игра на скрипке, зато мы с Мэри умели играть на фортепиано. Разве этого недостаточно? Но она скрестила руки на груди и дико вытаращила глаза. «Только идиот может не понимать, что “та-а-та-а-та-а-а-а-та” не то же самое, что “та-та-та-та-та” композитора!» – кричала она со страстью шекспировского персонажа, который собрался сказать незнающему свету, как все произошло; то будет повесть бесчеловечных и кровавых дел, случайных кар, негаданных убийств, смертей, в нужде подстроженных лукавством⁶. Но ее раздражение оправдывал непробиваемый взгляд Корделии, которая крепко сжимала скрипку и всем своим видом выражала терпение. По ее представлениям, она спокойно занималась

⁶ «И я скажу незнающему свету, как все произошло... подстроженных лукавством...» – слова Горацио, «Гамлет», У. Шекспир, пер. М. Лозинского.

в своей комнате, когда вошла мама, совершенно неспособная понять ее музыкальных экспериментов, ведь композитор, разумеется, предпочел бы «та-а-та-а-та-а-а-та», а не «та-та-та-та-та», поскольку это звучало красивее. Я подумала, что хорошо было бы стать беспризорницей и написать мелом на стене: «Корделия – дура». Большой пользы бы это не принесло, но так я бы сделала хоть что-то.

– Папа прислал телеграмму, – сказала Мэри, перекрывая мамины крики.

Мама тотчас же умолкла. Она даже не попыталась забрать ее из рук Мэри.

– Откуда вы знаете, что телеграмма от папы? – тонким голосом спросила она.

– Разве кто-то другой мог нам ее прислать? – ответила я.

– Да, ты права. Мы совсем одни. – Мама взяла ее, открыла и, прочтя первые слова, засияла надеждой и уверенностью. – У него все благополучно, он нашел нам дом, ему нравится редакция в Лавгроуве... но он отправился в Манчестер, чтобы уладить важное дело с мистером Лэнгемом. – Радость, надежда и уверенность угасли, словно их и не было вовсе. – В Манчестер! Уладить важное дело! С мистером Лэнгемом! В Манчестер, когда он должен быть в Ирландии, у своих родных! Как же они смогут принять участие в вашей жизни, дети? Уладить важное дело, из которого ничего не выйдет! И с мистером Лэнгемом! С мистером Лэнгемом!

– Кто такой мистер Лэнгем? – спросили мы.

– Мелкий, мелкий человечиска, – ответила мама. Потом ее лицо вновь озарили радость, надежда и уверенность, и она воскликнула: – Но ваш папа нашел нам дом! Как жаль, что я не могла избавить его от этой заботы, ведь ему о стольком нужно думать! Каким же будет наш дом? В предместьях Лондона есть очень красивые здания, а у вашего папы прекрасный вкус.

– Неужели в Лондоне есть красивые здания? – спросила одна из нас. Мы представляли его темным, состоящим из углов и прямых линий. Но мы были счастливы, мы знали, что она пообещает нам создать вместе с папой еще один дом для нас так же, как они создавали его в Кейптауне, Дурбане, Эдинбурге и здесь, среди Пентландских холмов.

– Ну конечно, в Лондоне есть красивые здания! – воскликнула мама. – Красивые дома есть в Париже, Вене, Копенгагене, вы увидите их все, но сначала мы проживем в красивом месте в Лондоне. Вы не должны расстраиваться, если комнаты окажутся не такими большими, как в эдинбургской квартире, на юге все иначе, но у них там есть прелестные кирпичные дома. Кроме того, славно будет пожить не в квартире, у нас будет свой сад, или мы найдем сквер поблизости, Ричарду Куину понравится, он сможет спать на свежем воздухе, как сейчас... Он в порядке? Я совсем о нем забыла.

– Да-да, – с гордостью ответила Корделия. – Я несколько раз выглядывала в окно, и он лежит совершенно спокойно.

– Жаль, что ваш папа рассказал нам так мало. – Мама взглянула на телеграмму и застонала. – Он не написал, где остановился в Манчестере. И не дал адреса нового дома. Как же мне отправить туда мебель из квартиры, если я не смогу сказать грузчику, куда ее везти? Но он еще напишет. Ваш папа всегда очень занят, но он напишет.

Мы знали, что папа не напишет, и всё же несколько дней верили в обратное. В то время расцвел вереск, серо-зеленые холмы стали лиловыми и с каждым часом меняли оттенок. «Словно вино», – повторяла мама, устремив взгляд ввысь, а Ричард Куин бегал рядом с ней, показывал пальцем вдаль и смеялся. Мы забросили работу на ферме и убегали по тропкам на поросшие вереском вершины, где бродили часами и не видели от горизонта до горизонта ничего, кроме пространства, залитого сухой и звучной краской. Вереск можно было растереть пальцами в порошок, отдельные его веточки казались бледными и невзрачными, но вместе они создавали цвет столь густой, словно басовый аккорд, продленный педалью. Однажды мы вызвались присмотреть за Ричардом Куином после занятий, чтобы отпустить маму погулять по вересковым пустошам в одиночестве. Ее не было так долго, что мы испугались, но в сумерках она вернулась счастливая и словоохотливая, с охапкой странных трав, которых мы никогда

там не встречали. Потом мы нашли удобное местечко на холме, куда можно было привести Ричарда Куина, и несколько раз брали с собой обед и лежали на лиловом уступе, где в круглой сырой ложбине среди зелени росла белая, словно нарциссы, болотная пушица. Мы глядели вниз на лоскутки фермерских угодий, что тянулись на север в сторону Эдинбурга.

В один очень жаркий день, когда мы все были там, Мэри сказала:

– Мы не видели такого солнца с тех пор, как уехали из Южной Африки.

И мама, которая склонилась над Ричардом Куином, смеясь и щекоча его вересковым стеблем, вдруг оцепенела. В Дурбане ей не нравилось, когда мы заговаривали о Кейптауне, а теперь, в Шотландии, ей были не по душе разговоры о Южной Африке. Мы не сомневались, что по приезде в Лондон она не захочет, чтобы мы вспоминали Эдинбург. Но поедem ли мы в Лондон? Не зная, где папа, мы не могли просто сесть в поезд и отправиться искать его; кроме того, существовала вероятность, что он, движимый своим чудачеством, остался в Манчестере. Но если мы не поедem к нему, что нам делать в Эдинбурге? Вскоре мы останемся без квартиры, домовладелец заберет ее и сдаст другим жильцам; к тому же у нас не будет денег. Мы молча лежали на уступе и глядели вниз на равнину, казавшуюся в ярком полуденном свете бесплотным облаком, а не твердой землей; Ричард Куин брыкался и смеялся, и мама, напряженная как струна, заставила себя вернуться к игре.

Однажды ночью, примерно в то же время, я проснулась и увидела, что Мэри – белая фигура в залитой луной комнате – стоит на коленях, прижав ухо к двери, ведущей в мамину спальню. Я присоединилась к ней. В хорошие времена мы не подслушивали, но случались моменты, когда нам необходимо было знать, что нас ждет. Мы услышали, как мама, скрипя половицами, ходит туда-сюда и вздыхает.

– Уважаемый мистер Морпурго, не могли бы вы... – бормотала она. – Уважаемый мистер Морпурго, кажется, мы с вами не встречались, но, я уверена, вы простите меня за то, что я пишу вам, чтобы спросить... Нет. Нет. Так не годится. Главное – сохранять легкий тон.

Мы услышали, как она притянула к себе стул, устроилась на нем и издала короткий смешок.

– Уважаемый мистер Морпурго, как вам известно, мой муж – гений. Нет. Нет. Уважаемый мистер Морпурго, судя по доброте, которую вы проявляете к моему мужу, вы высоко его цените, и я смею надеяться, что вы, как и я, считаете его гением. Смею думать, что вы, как и я, верите в его гениальность.

По тому, как мама растягивала слова, мы поняли, что она начала их записывать. Писала она в полумраке, чтобы не разбудить Ричарда Куина. Мне всегда запрещали делать что-то подобное, и я встревожилась, что она испортит себе глаза.

– Гении мыслят иначе, чем простые смертные, так что вы не удивитесь, услышав... – Теперь она заговорила сама с собой: – О, почему я всегда должна прилагать столько усилий, почему ничего не дается просто. Подумать только, некоторым женщинам для переезда достаточно погрузить вещи в фургон. – Мама снова заговорила другим голосом: – Так что вы не удивитесь, услышав, что мой муж... – она снова издала короткий смешок, – ...уехал в Манчестер, позабыв написать мне свой адрес, поэтому, хотя он постоянно шлет мне телеграммы, я не могу на них ответить. Если вам известен его адрес, буду признательна, если... Но это звучит так странно.

Она снова начала мерить шагами комнату.

– Как закончить? «С глубоким уважением» или «Искренне ваша»? Никак не вспомню, встречала ли я когда-нибудь его. Но все равно это звучит так странно. Будет ужасно, если сотрудники редакции поймут, что он чудак, еще прежде, чем он приступит к работе. В других местах, по крайней мере, об этом узнавали позже.

Мамин шепот звучал сипло, словно у нее болело горло.

– Ах, лучше отложить это до утра. А там, возможно, придет и письмо. О, я веду себя как наши дети.

Когда мы с Мэри вернулись в постель, мамино зрение и простуженное горло беспокоили меня больше, чем наше будущее. Я даже упрекала ее в том, что считала простительной, но все же слабостью: в неспособности понять, что у нас все сложится хорошо. Проблемы могли быть только с Корделией. Она нравилась всем учителям, а это не предвещало ничего хорошего. Мы с Мэри не то чтобы ненавидели школу, но знали, что она является противоположностью внешнему миру и взрослые допускают величайшую ошибку, полагая, что готовят детей к настоящей жизни там, где этой жизни нет в помине. Возможно, Корделии будет трудно встать на ноги, но уж мы-то с Мэри не пропадем. Мы крайне редко тревожились так сильно, как тогда на лиловом уступе. Обычно мы прекрасно понимали, что главное – продержаться, пока мы не сможем зарабатывать большие деньги игрой на фортепиано, ну а до тех пор как-нибудь перебьемся. Если мы из-за папы до сих пор не оказались в работном доме, то, вероятно, никогда и не окажемся там; нас огорчало, что столь утешительные мысли не приходят в голову маме и она из-за своей несообразительности не спит по ночам, расстраивается, пишет в потемках, портя себе глаза, и наверняка сидит в одной сорочке, несмотря на простуду. Кажется, я недолго лежала без сна. Помню, что Мэри уснула довольно скоро.

На следующий день, когда мы с Мэри несли горячий чай мужчинам, работавшим в поле за перевалом, нам подумалось, что маме будет проще связаться с мистером Морпурго с помощью телеграфа. Во всяком случае, она сможет обойтись без этих взрослых глупостей о «глубоком уважении» и «искренне вашей». Так что за чаем мы стали невинно расспрашивать ее, как грузчик узнает, куда отправить мебель, если она не назовет ему наш лондонский адрес. Мама глубоко вздохнула, а Корделия покачала головой, нахмурилась, шикнула и пнула нас под столом. Она вечно старалась вести себя как взрослая и ребенок одновременно, когда бывала недовольна. Позже она поймала нас в коридоре и зашипела:

– Разве вы не видите, что бедная мама вся извелась от беспокойства?

Золотисто-рыжие кудряшки Корделии были такими короткими и тугими, что мы не могли оттащить ее за волосы, а поскольку мамин брат умер от столбняка, мы знали всё о заражении крови и никогда не царапались. Но со временем мы наловчились ее колотить и сейчас пару раз хорошенько ее стукнули.

– Мама слишком взволнована, чтобы ябедничать ей, что мы тебя побили, – вкрадчиво сказала Мэри.

– Какая подлость! – выдохнула Корделия.

– Неужели? Вполне в твоём духе, – отозвалась Мэри.

Корделия изобразила отчаяние, которое мы уже не раз наблюдали, и ушла, бросив неопределенное:

– Я единственная.

На следующий день Мэри вертелась поблизости от мамы, сидевшей в саду, пока Ричард Куин спал, и заговорила, только когда услышала звуки скрипки:

– Знаешь, мама, Роуз из нас самая незрелая. – Мы вместе придумали, что она так скажет, потому я была не против. – Мы все привыкли считать ее рассудительной, но в некоторых вещах она сущее дитя, и сейчас это особенно заметно.

Дальше она сообщила маме, будто я беспокоюсь за судьбу нашей мебели. Якобы я знаю, что мы отказались от квартиры и не сможем там больше жить, поскольку вот-вот въедут новые жильцы, и боюсь, что грузчик просто отвезет мебель в Лондон и где-нибудь выбросит и мы никогда ее не найдем. Мама разволновалась и сказала, что должна поговорить со мной и объяснить, что всё в порядке, но Мэри попросила ее этого не делать, потому что я рассказала ей это по секрету. Как мы и ожидали, мама согласилась.

– Кроме того, что я могу ей сказать? – проговорила она, проведя ладонью по лбу.

– Неужели ты не знаешь, что делать? Роуз, между прочим, всю ночь проплакала, – сказала Мэри.

– О нет! – простонала мама. – О нет! Только не Роуз!

– Почему бы тебе не послать мистеру Морпурго телеграмму?

– Телеграмму? – переспросила мама. – Да ведь это выглядит еще более странно, чем письмо. Но нет. Почему бы мне не телеграфировать в редакцию? Он наверняка сообщил им, где снял дом. И я могла бы сказать, что адрес нужен грузчику. И что я хочу узнать его заранее, чтобы нам включили газ. Да. И воду. Тогда, если они на связи с вашим папой, они передадут ему, что я телеграфировала, и мы выясним, где он. А Роуз не будет беспокоиться из-за мебели. Да, я отправлю телеграмму сегодня же, отдам почтальону. С оплаченным ответом. «Мой муж в Манчестере забыл дать мне адрес дома который снял пожалуйста пришлите нужно срочно сообщить грузчику газовщикам водопроводчикам». Принеси мне бумагу и карандаш.

Когда Мэри принесла необходимое, мама начала писать, а потом бросила все на траву.

– Телеграмма казалась бы гораздо менее странной, если бы я могла сказать, что ваш папа в Тибете.

– Это было бы весьма странно, ведь тибетцы никого к себе не пускают, – ответила Мэри, поднимая бумагу и карандаш. Она в самом деле считала, что на маму слишком много всего навалилось.

– Из Тибета связаться с женой и семьей сложнее, чем из Манчестера, – заметила мама.

Все прошло замечательно, вот только вечером мама смотрела на меня с недоумением и весьма смутила Мэри, спросив, уверена ли та, что я ночью плакала и не приснилось ли это ей.

– О нет, мама, разве может такое сниться каждую ночь, – ответила Мэри с безмятежным, как сливки на серебряной ложке, лицом.

Разумеется, это не помогло. Мама чувствовала: что-то здесь нечисто. Она знала особенности каждого из нас так же хорошо, как особенности музыкальных стилей всех великих композиторов. Но в то же время она никогда не задавалась лишними вопросами о своих детях, подобно тому как не желала читать о подробностях личной жизни великих композиторов. Она судила о нас в целом, к тому же этот эпизод выскочил у нас из головы уже на следующий день, когда почтальон принес ответную телеграмму. Оказалось, папа снял для нас дом на Лавгроув-плейс, 21 и маме не стоило беспокоиться о газе и воде, поскольку мистер Морпурго распорядился, чтобы дом убрали и подготовили к привозу мебели. Новость должна была вернуть мне безмятежный сон и определенно вернула его моей матери. Она говорила об этом каждый день.

– Просто необычайная любезность. Нам не оказывали такой прием ни здесь, ни в Дурбане. Вашему отцу показалось, что мистер Морпурго не хочет его видеть. Но это, вероятно, какая-то ошибка. Неудивительно, что после случившегося в «Каледонце» ваш отец стал чувствительным. Но сейчас он наверняка ошибается, мистер Морпурго так добр к нам, тому не может быть других причин, кроме его расположения к вашему отцу. – Поглощенная этой вполне разумной идеей, она перестала огорчаться из-за отсутствия писем от папы.

Однажды ночью наша выдумка стала правдой. Я лежала без сна в темноте и плакала. Но не потому, что тревожилась за будущее, а из-за зубной боли. Поначалу мы с Мэри волновались, не божественная ли это кара за обман, но, поскольку с Мэри, игравшей в нашей проделке главную роль, ничего не случилось, мы отмели подобные мысли. Когда мама утром узнала про мою зубную боль, она стала называть меня ласковыми шотландскими именами, которые всегда всплывали в ее памяти, если мы недомогали или ушибались, потом поспешно вышла из комнаты и так же быстро – она двигалась быстрее, чем все, кого я когда-либо знала, – вернулась, размешивая мед в чашке с горячим молоком. Таково было ее лекарство от всех недугов, и оно действительно снимало боль, отвлекая внимание. Отправив Корделию и Мэри вниз завтракать, мама села на мою кровать, и на несколько счастливых минут мы остались наедине. Я

чувствовала, как невидимый теплый поток ее любви изливается на меня и успокаивает так же, как теплая сладость молока с медом успокаивала мой рот. Мама сказала, что, к сожалению, не может дать мне полежать, пора вставать и одеваться, она уже распорядилась нанять двуколку, и мы поедem на станцию, сядем в поезд до Эдинбурга и отправимся к нашему зубному доктору, который сейчас, в сентябре, наверняка уже вернулся к работе и найдет время, чтобы меня принять.

– Сегодня тебе придется пропустить занятия, – вздохнула она.

Но меня беспокоило другое.

– Это дорого нам обойдется?

– О мой бедный ягненок, – ответила мама, – что за вопрос! Пожалуй, я слишком откровенна с вами. Даже не забивай себе голову такими мыслями. Больной зуб – это больной зуб, уж на него мы найдем деньги. Не думай больше о расходах. Кроме того, мне это даже на руку. Австралийцы съехали в прошлый понедельник, и я воспользуюсь случаем проверить нашу квартиру и убедиться, что все готово к переезду. Мне не придется ехать туда одной, мой ягненок составит мне компанию. Сегодня такой чудесный день, жаль, у меня нет одежды понаряднее! Как хорошо будет, когда Ричард Куин подрастет и нас всегда сможет сопровождать мужчина. Впрочем, он, разумеется, женится, и мы позволим ему жить его собственной жизнью. Но я надеюсь, что и вы, девочки, к тому времени обзаведетесь мужьями. Все равно не волнуйся о деньгах, нам с избытком хватит на дорогу до Лондона, а после этого все будет хорошо, мы проживем лучше, чем когда-либо, ведь мистер Морпурго так уважает вашего отца.

Ночью я так мало спала, что в поезде уснула, уткнувшись в мамино плечо. Стоял теплый осенний день, но она укутала меня в шотландскую шаль, которую всегда доставала, когда мы болели. Молоко с медом и та шотландская шаль были нашими талисманами, и, как только я увидела ее у мамы в руках, когда та садилась в двуколку, мне сразу стало легче. Когда мы прибыли в Эдинбург, я проснулась, чувствуя себя согретой, маленькой и умиротворенной. Боль настолько утихла, что, когда мы шли по Принсес-стрит, я готова была радостно прыгать от вида великолепного замка на скале, возвышавшегося над зелеными садами, от всего этого величественного города, что стоял среди холмов увереннее, чем сам Рим. Но когда я воскликнула: «Разве это не прекрасно? Разве это не прекрасно?» – мама не ответила. Она всегда любила два классических здания у подножия холма Маунд, соединяющего Старый город и Принсес-стрит, – Национальную галерею и Школу скульптуры⁷; однажды она назвала их изящными, как молодой месяц. Я не знала, что и думать.

– Тебе разонравился город? – спросила я. – Разве тебе не кажется, что сегодня он особенно красив?

– О да, Роуз, конечно, красив. Но ты должна меня извинить, они так ужасно поступили с твоим папой, что мне хочется уехать отсюда навсегда, – кратко ответила мама, словно я в чем-то ее обвинила.

Я вспомнила, что в последние несколько недель в Дурбане она не любила даже ходить на пляж.

Но у зубного врача ей стало лучше. Она ему очень нравилась. Мы давно об этом догадались, потому что всякий раз, когда нас провожали в кабинет, он стоял посреди комнаты, подальше от кресла, как будто нарочно стараясь выглядеть непрофессионально, и впивался в маму взглядом, а на нас никогда не смотрел. В первую очередь он всегда обращался к ней и во время этих разговоров, иногда продолжавшихся довольно долго, много смеялся и часто по несколько раз повторял ее слова, которые нам казались вовсе не смешными; позже обычно выяснялось, что мама и не думала шутить. А когда кто-то из нас садился в кресло, он всегда со вздохом наклонялся и говорил: «Что ж, детка, тебе никогда не сравниться мужеством

⁷ Судя по всему, имеется в виду Королевская шотландская академия искусств. *Прим. ред.*

со своей матерью». По-видимому, в тот день мама была сильно огорчена, по крайней мере, мне впервые показалось, что его общество доставляет ей удовольствие, словно присутствие человека, который ею восхищался, вселяло в нее уверенность. Я подумала, что она, наверное, переживает из-за своей старой одежды. Впрочем, она не забывала поторапливать его, пока он не усадил меня в кресло. Выяснилось, что под зубом был нарыв, который он с легкостью вскрыл, и я встала, чувствуя себя здоровой как никогда. Мама поблагодарила его, расплатилась и побыстрее меня увела.

Ее и в самом деле кое-что беспокоило. В коридоре она наклонилась, поцеловала меня и робко сказала:

– Бедный ягненочек, ты, наверное, совсем измучилась. Ты была очень храброй. Но ты должна меня простить. У меня осталось слишком мало денег, чтобы взять кеб до квартиры. Нам придется добраться до Маунда на трамвае. Как по-твоему, у тебя хватит сил? Если нет, можем передохнуть здесь, в приемной, и вернуться ранним поездом. Как тебе больше хочется? Скажи маме.

– Я не устала, – честно ответила я.

– Точно? – настойчиво спросила она и вздохнула с облегчением, когда я кивнула. – Я вынуждена считать каждый пенни, – объяснила она. – Но вам, детям, не о чем волноваться, – продолжала она, когда мы вышли на улицу. – Что бы ни случилось, голодать мы не будем, обещаю тебе. Но сейчас я должна экономить на всем. Это сложно объяснить, но ты должна доверять маме.

– Да, – сказала я, – да, мама. – Но я ей не доверяла. Я любила ее, но видела, что она попала в капкан взрослой жизни и беспомощно бьется в нем.

Трамвайный вагон вальяжно взобрался на холм Маунд, раскачиваясь по-верблюжьи, развернулся на вершине и потащился по мосту Георга Четвертого, который завораживал нас, детей, тем, что пересекал не реку, а каньоны трущоб. Нам с Мэри и Корделией было жаль покидать Эдинбург. Замок на холме создавал ощущение, будто мы живем в сказке, мы обожали взбираться по склонам Трона Артура, настолько похожего на спящего льва, что казалось нелепым считать его созданием природы, – больше всего он походил на творение волшебника. Вдобавок эти мрачные трущобы внизу, что вытянулись под распростертым, царственным городом до Холирудского дворца, где тьма встречалась со светом и белая звезда Марии, королевы Шотландии, вечно противостояла черной звезде Джона Нокса. У меня щемило сердце при мысли, что вскоре мы должны будем покинуть это место просто потому, что наша участь – всегда уезжать. Я чуть не расплакалась. Я погладила мамину ладонь, улыбнулась ей, как взрослые любят, чтобы улыбались дети, и поняла по ее лицу, что она думает: «Роуз – счастливый ребенок». Мы вышли в начале Мидоу-Уок и отправились дальше пешком. По пути мы увидели меж краснеющих деревьев темные корпуса больницы, которую наша знакомая студентка медицинского университета с благоговением называла храмом врачевания. Корделия иногда хотела учиться там на медсестру; от этой мысли ее лицо делалось благородным и глупым, но более приятным, чем во время игры на скрипке. Корделия воспринимала предстоящий отъезд из Эдинбурга тяжелее, чем кто-либо из нас. В какую бы школу она ни ходила, все учителя хвалили ее, строили на нее планы, говорили, что нужно лишь продолжать в том же духе – и она попадет туда, где они хотели ее видеть, и она со своей острой потребностью в одобрении сама хотела туда попасть. К ней судьба была особенно сурова.

Я повернулась к маме и сказала:

– Следующей зимой не придется мерзнуть, как здесь в прошлое Рождество!

– Да тебе не терпится поехать в Лондон! – обрадовалась она.

– Как и всем нам, – ответила я.

Удивительно, но маму называли ясновидящей. Так говорила шотландская няня, присматривавшая за нами в Южной Африке; на пляже в Дурбане мама однажды вскрикнула от виде-

ния того, как в пустом море загорелся маленький пароходик и к берегу устремились шлюпки, и все произошло именно так двадцать четыре часа спустя. Но нам всегда удавалось ее обмануть. В противном случае мы бы не смогли настолько хорошо заботиться о ее счастье.

Мы подошли к ряду серых домов, где жили раньше, и миновали один из них, в котором находилась наша квартира, потому что нужно было сделать кое-какие покупки в лавках за углом.

– Странно проходить мимо нашей двери, не заходя внутрь, – сказала я.

– А мне странно покидать город, где я родилась, – ответила мама, но потом продолжила: – Как же я счастлива. У тебя больше ничего не болит, и, как сказал доктор, остальные твои зубы в порядке; а я так не хотела приезжать сюда и в одиночестве готовиться к отъезду, но теперь это дело вовсе не кажется мне таким грустным.

В лавках она тоже казалась счастливой. Ей нравился сам процесс; и, хотя в тот день мы купили очень мало, ровно столько, чтобы было чем перекусить в обед: немного какао для меня, четверть фунта чаю для нее, четверть фунта сахара, молоко в жестяной баночке с колечком-открывашкой, – все равно, забирая свертки, мы почувствовали себя гораздо более значимыми, чем прежде, и обменялись любезностями с продавцами.

– Я нигде не задолжала ни пенни, – гордо сказала мама, когда мы вышли из бакалейной лавки. Помешкав какое-то время у витрины булочной, она робко спросила: – Роуз, ты не считаешь меня ужасной обжорой, если я куплю пончик? Я так давно их не ела. А они выглядят такими воздушными.

Это скромное лакомство так отличалось от тех изысканных сладостей, которыми мы с Мэри собирались угощать ее, когда станем знаменитыми пианистками, что я была тронута. И уговорила ее взять не только пончик, но и рождественский кекс с сухофруктами.

Поднявшись на свой этаж, мы увидели, что дверь квартиры с другой стороны площадки распахнута, а уборщица, добрая толстушка миссис Маккечни, стоит на пороге между ведром и метлой и разворачивает брусок мыла. На ней была черная мешковатая одежда и черный чепчик, потому, когда она вышла поздороваться с нами, в темноте лестничного пролета виднелись только ее белое круглое лицо и огромные белые ладони. Пока они с мамой обменивались любезностями, я застыла и тарасилась на нее, завороченная игрой светотени. Казалось, я смотрю на луну – по отдельным, смутно проступающим из темноты чертам угадывалось выражение огромного лица. Глядя на маму с нежностью, миссис Маккечни сказала своим густым, как овсяная каша, контральто, которое мы так любили, что приводит в порядок квартиру Мензисов к их возвращению из Ротсея и пробудет там весь вечер и, если маме что-то понадобится, достаточно просто позвонить в колокольчик.

– Добрая женщина, – сказала мама, войдя в прихожую. – Отправлю ей из Лондона хороший подарок через месяц-другой, когда разберусь с нашим бюджетом.

Мы бросили свертки на кухонный стол, мама зажгла газовую конфорку и налила в сотейник молока для какао, а я выложила на тарелку пончик и кекс.

– Так и знала, – сказала мама, – они оставили все в идеальной чистоте. Я не сомневалась, что они хорошие люди. Но посмотри. Беда с этими мышами. Все старые дома одинаковы. Но как же они прелестны. Только погляди, как высокие комнаты вбирают в себя всю красоту дня. Надо сходить в гостиную и посмотреть, полировали ли они мебель тети Клары.

Через несколько минут она вернулась и села, поставив локоть на стол, а подбородок – на ладонь. Тем временем мое молоко вскипело, я приготовила себе какао и поставила чайник для ее чая.

– Мне не нужно столько воды, – сказала мама. – Вылей немного. Она никогда не закипит. Я не создана для изобилия. Мне не положен даже излишек воды. Она никогда бы не закипела.

Мама была очень бледна и дрожала.

Когда я снова поставила чайник на конфорку, она произнесла:

– То, что произошло, не имеет никакого значения. Трудно объяснить, но в некотором смысле все это неважно, хотя и значит больше, чем ты можешь себе представить. Мебель тети Клары пропала.

Я оставила маму и пошла в гостиную. Она находилась в противоположной от улицы части дома, и оба высоких окна смотрели на юг, на городской парк под названием Медоус. Сейчас в ней не было ничего, кроме нашего пианино «Бродвуд», вытасченного на середину комнаты, потертого розового ковра из отчего дома моей матери, трех больших репродукций семейных портретов на стенах и мириадов пылинок, танцевавших в светлой пустоте. Пропал круглый стол, который удерживали три переплетенных дельфина, стулья, обитые зеленым шелком с рисунком из золотых пчел, конторка на опорах-лебедях. Я вошла в столовую и увидела, что буфет, оплетенный телами двух нимф по бокам, и стулья с медной инкрустацией тоже исчезли. Это только те предметы, которые я сразу вспомнила. Скорее всего, я еще много чего забыла.

Я побежала обратно на кухню, крича:

– Мама, давай я сбегаю в полицейский участок и сообщу, что нас ограбили?

– Но, дорогая, не исключено, что нас никто не грабил, – глухо ответила она.

– Наверное, они увезли вещи в фургоне. Может быть, миссис Маккечни что-то об этом знает.

– Она знает, – сказала мама. – Вот только как ее спросить.

– Как ее спросить? – повторила я.

Мама неуклюже встала со стула, вышла в прихожую и некоторое время постояла, одной рукой держась за ручку входной двери, а другую прижав ко рту. Затем резко распахнула дверь, прошла через площадку к по-прежнему открытой двери квартиры напротив и с притворной жизнерадостностью крикнула:

– Миссис Маккечни! Миссис Маккечни! Когда приезжали за мебелью?

Грудной голос изнутри ответил, что человек из «Сомс», что на Джордж-стрит, прислал за ней в тот самый день и час, что и обещал, когда приходил с папой ее покупать, сразу же после того, как мы уехали в Пентланды.

– Значит, всё в порядке! – сердечно сказала мама. – Я опасалась, не случилось ли какой-нибудь ошибки, но мой муж замечательно все устроил.

Вернувшись в квартиру, мы тихонько закрыли дверь, и мама дрожа остановилась в прихожей.

– Должно быть, он продал ее за бесценок, – пробормотала она. – О, я становлюсь старой и безобразной, но дело не в этом. Мне не под силу соперничать с долгами и позором, к которым он питает настоящую любовь.

Она подняла было руки, словно обнимая призрака, но тут же безвольно уронила их.

Глава 2

Из манчестерской букинистической лавки пришла посылка с трехтомником про Бразилию, написанным французом по фамилии Дебре, который побывал там в начале девятнадцатого столетия. Книга нам очень понравилась, в ней было полно чудесных цветных литографий. Но папа так и не написал маме, поэтому мы сели в поезд на вокзале Уэверли, не зная, что нас ждет в Лондоне. Мы уверяли маму, что не только не имеем ничего против неопределенности, но и наслаждаемся ею, и это не так уж сильно отличалось от правды. Проснувшись ночью в вагоне, я увидела, что мама пребывает в состоянии иступленной решимости. По моде того времени женщины носили небольшие шляпы, сидевшие на головах, будто лодки, которые затейливо прищвартовали к подбородку вуалью, полностью закрывавшей лицо. Мамина вуаль была кое-где разорвана, и дыры приходились на самые неудачные места. Нос, казавшийся теперь, когда она так исхудала, похожим на клюв, вечно высывался в одну из прорех, и она снова и снова безуспешно пыталась сдвинуть вуаль, дергая за узел под подбородком. Пожалуй, мама была почти лишена женской грации. Но она энергично шевелила губами, время от времени царственно вскидывала голову и сверкала глазами. Она явно репетировала сцену триумфа, которая предстояла нам в Лондоне, и походила на бесстрашную орлицу. Наконец она сняла шляпу, чего не делала до сих пор только потому, что та была частью ее ночного костюма, откинулась на спинку сиденья и уснула среди своих спящих детей, не сломленная тяготами, притягивающая любопытные взгляды, словно бродячая артистка.

Когда мы прибыли в Лондон, мама, вопреки своей обычной стремительности, руководила выгрузкой из поезда очень медленно и, разговаривая с носильщиком, украдкой оглядывалась по сторонам. Она надеялась, догадались мы, что папа будет ждать нас на перроне. Потом мама велела носильщику присмотреть полчаса за багажом, посчитав, что обязана напоить нас чаем с булочками, прежде чем мы пустимся в путешествие через весь город в Лавгроув. Буфет с большими застекленными окнами находился прямо на перроне. Мы нашли столик у окна, она усадила Ричарда Куина к себе на колени и стала поить его молоком, обшаривая взглядом толпу снаружи. Все смотрели на Ричарда Куина; после целой ночи в поезде, который, как и все поезда того времени, был черен от копоти, он казался чистеньким и в самом деле очень красивым – большие серые глаза с черными ресницами, белая кожа, светлые волосы, темные на кончиках. Он держался весело и умиротворенно. Пожилая женщина подошла и дала ему банан – очень редкий по тем временам фрукт, – и он с очаровательным кокетством его принял. Я не могла понять, почему мама так тревожится из-за папы, когда у нее есть Ричард Куин.

Наконец мама со вздохом сказала, что нам пора, и началась вторая, более унылая часть нашего путешествия. Через Темзу, которая показалась нам очень грязной, мы доехали в душном экипаже до другой станции, сели в очень медленный поезд, чей путь пролегал меж безобразных домишек, вышли на деревянной платформе, расположенной высоко над землей, спустились по потертым ступеням, дождались, пока нам подали кеб, и после долгой поездки остановились на перекрестке перед редакцией газеты, что разместилась в уродливом викторианском особняке из желто-зеленого кирпича. Низ окон прикрывали черные сетки из конского волоса, на которых бледно-желтыми буквами было написано название газеты, что показалось нам некрасивым и вульгарным. Мама вошла в редакцию, поскольку договорилась, что там ей оставят ключ, и вернулась с очень уставшим видом.

– Они слышали что-нибудь о папе? – поинтересовалась я.

– Разве я могла спросить? – вздохнула мама, а Корделия нахмурилась и зашикала на меня. Кажется, храбрости у нас изрядно поубавилось.

Но потом кеб повез нас в другой район, где, к нашему изумлению, вдоль дорог и в садах высились деревья, много деревьев, – мы-то были уверены, что в Лондоне нет ничего, кроме

зданий. Листья едва тронула позолота, а в садах из сырой, темной, словно сливовый пирог, земли росли японские анемоны, астры и хризантемы. Это место, богатое, влажное и свободное, так отличалось от Шотландии. Но потом кеб вывез нас на очередную безобразную улицу с домишками из красного кирпича, арочными дверями, украшенными желтой лепниной, и остроугольными эркерными оконцами с тюлевыми занавесками. Мы заворчали – нам хотелось жить там, где есть деревья. Но все обошлось. Мы всегда знали, что все будет хорошо. Домишки закончились, дорога расширилась, снова появились деревья и цветы, и кеб замедлился перед белым особняком, который сразу пришелся нам по душе. Я люблю его по сей день и не могу расстаться с мечтой когда-нибудь в нем поселиться, хотя во время Второй мировой войны его уничтожила бомба.

Впоследствии я видела дом много раз и позабыла, что первым бросилось мне в глаза в тот вечер. Дорога здесь заканчивалась, упираясь в высокую кирпичную ограду с коваными воротами, закрепленными на колоннах, на верхушках которых два грифона держали герб. Ворота были глухими, их подпирали просмоленные доски, и все это могло бы напугать, но в действительности успокаивало – здесь нет никого, перед нами частная собственность. Справа виднелся аккуратный ряд из дюжины домов. Перед самыми воротами, по левую сторону от нас, стоял наш новый дом. На уровне второго этажа висела опрятная табличка с цифрами «1810», само здание обладало изяществом, характерным для своей эпохи. Над парадной дверью нависал портик, а затейливые нижние окна экзотической формы, выполненные в китайском стиле, заслоняла веранда. Медные рамы окислились до тоскливой, мягкой, как дым, голубоватой зеленцы. Над окнами спален наверху располагались оригинальные резные сандрики, а еще выше, за балюстрадой, украшенной по обеим сторонам сентиментальными урнами, прятались мансардные окна. Дом был недавно окрашен, и мама пробормотала:

– Что значит эта краска, кто мог за нее заплатить? Уж не выставят ли нам за нее счет?

Она трагически указала на пристройку с широкими, призрачно-бледными из-за недостатка краски воротами, красной черепичной крышей, башенкой со сломанным флюгером и часами, показывавшими возмутительно неправильное время.

– Неужели мы собираемся держать карету? – произнесла она с иронией. – О, дом слишком велик. Что нам делать? Что делать?

– Все будет хорошо, – сказала Мэри.

– Конечно, все будет хорошо, – поддержала я. – Давайте войдем.

Мы побежали по дорожке, а мама с Ричардом Куином медленно последовала за нами.

– Какой хороший мальчик, – тяжело сказала она и повернула ключ в замочной скважине. Войдя в дом, она застыла, по-рыбьи распахнув рот, что ей совсем не шло. Одна из дверей, выходящих в маленькую прихожую, была приоткрыта, и из-за нее доносился скрежет. Мама – да и мы тоже – подумала, что в дом забрался грабитель. Замешкавшись всего на секунду, она вбежала в комнату; Корделия, Мэри и я бросились за ней. У камина, сдирая перочинным ножиком обои над мраморной каминной полкой, стоял отец. Еще мгновение он продолжал свое занятие, затем убрал ножик, распахнул объятия и расцеловал маму в обе щеки. Мы встали полукругом вокруг них, Ричард Куин ползал у нас под ногами. Мама сияла, мы почувствовали себя в безопасности, спасенными от падения в бездну, потому что наш дорогой папа снова был с нами.

– Но, Пирс, как же ты попал сюда без ключа? Мне говорили, что ключ всего один, – сказала мама. – Я никак не ожидала!

– Я знаю дюжину способов проникнуть сюда, – ответил папа насмешливым тоном, который люди так ненавидели. – На сей раз я забрался через крышу каретника.

– Тебе знаком этот дом? Это... это ведь не тот дом, в котором ты когда-то гостил?

– Да, – подтвердил папа. – Это тот самый дом, где я гостил у двоюродной бабушки Уиллоуби. – Он отошел от камина, сложил ножик и сунул его в карман. – Да, это именно он. Раньше

над каминной полкой располагалась плоская расписная панель, они скрыли ее под обоями, ума не приложу почему. Она была весьма хороша. Позже мы ее откроем. – Пощупав нож в кармане и окинув комнату одним из своих мрачных взглядов исподлобья, он продолжал: – Да, это Кэролайн Лодж, только никто его больше так не называет. Его построил для бабушки Уиллоуби ее богатый зять, живший в том большом доме за воротами. Теперь там Богословский колледж. А этот дом принадлежит моему кузену Ральфу. Он предоставил его мне.

– О, так вы с Ральфом снова друзья? – воскликнула мама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.